



## ПРОЛОГ

Мальчик сидел за сундуком, где пахло пылью. Портьеры, прикрывавшие окно, поднимались над ним, как массивные пыльные колонны; в луче солнца кружилась, растерявшись, белесая бабочка-моль.

За окном бряцало железо и топотали копыта. За окном говорили «враги» и говорили «война»; здесь, в доме, были отец и мать, домашние и надежные, как эти столбы солнца, подпирающие потолок...

Но старика он боялся. Старик был чужим и непонятным; в его присутствии даже родные люди казались не такими, как прежде. Мать и отец не обращали на сына внимания — будто старик был тучей, заслонившей от мальчика солнце. Они тоже боятся старика — зачем же отдавать ему ЭТО?!

Мальчик плакал и слизывал слезы. Та вещь... Та замечательная вещь. Неужели ее больше не будет? И не будет праздников, когда, вытащив ее из шкатулки, мама позволит ему — в награду за что-нибудь — одним только пальцем ПРИКОСНУТЬСЯ? И смотреть, смотреть и следить за солнечным зайчиком на потолке...

Они говорили — что-то о ржавом пятнышке, которого, кажется, все-таки нет. И еще о войне; мальчик представил себе целый лес копий, узкие флаги, раздвоенные, как змеиные языки... Очень много красивых всадников, и приятно пахнет порохом... И его отец всех победит.

Но почему старик только молчит и кивает?!

Мокрым от слез пальцем мальчик рисовал на сундуке злые рожицы. Его ругали, когда он рисовал злых. А теперь он с особым удовольствием выводил косые, с опущенны-

ми уголками рта и нахмуренные брови: ну и отдавайте... ну и пусть...

А потом золотая вещь блеснула на чужой ладони, на длинной ладони старика; тогда мальчик не выдержал, с ревом выскочил из своего укрытия, желая выхватить игрушку и не в силах поверить, что на этот раз его каприз окажется неутоленным...

— Луар!

На щеках матери выступили красные пятна; что-то строго говорил отец, но мальчик и сам уже пожалел о своем порыве. Потому что старик посмотрел на него в упор — долгим, пронзительным, изучающим взглядом. Странно еще, как штанишки остались сухими.

По дну прозрачных, будто стеклянных глаз пробежала тень; кожистые веки без ресниц мигнули. Мальчик съезжился; старик перевел взгляд на его мать:

— Вы назвали его в честь Луаяна?

За окном грохотали кованые сапоги и грозный голос выкрикивал что-то решительное и командирское. Старик вздохнул:

— Когда один камень срывается с вершины... всегда остается надежда, что он угодит в яму. И лавины не будет. Мы надеемся. Всегда.

Мальчик всхлипывал и тер кулаками глаза и цеплялся за рукав отцовской куртки — а потому не видел, как удивленно переглянулись его родители.

Старик печально усмехнулся:

— Твое семейство по-прежнему мечено, Соль. Судьбой.

Мать испуганно вскинула глаза; отец молчал и держался за щеку, будто бы мучаясь зубной болью. Старик кивнул:

— Впрочем... Ничего. Ерунда. Забудьте, что я сказал.

Лишь когда за старцем закрылась дверь, к чувству утраты прибавилось еще и облегчение.

Теплая ладонь, в которой целиком тонет его рука. У тебя будет много других игрушек. Не грусти, Денек.



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Мы успели-таки! Счастье, что городские ворота захлопнулись за нашими спинами — а могли ведь и перед носом, недаром Флобастер орал и ругался всю дорогу. Мы опаздывали, потому что еще на рассвете сломалась ось, а ось сломалась потому, что сонный Муха проглядел ухаб на дороге, а сонный он был оттого, что Флобастер, не жалея факелов, репетировал чуть не до утра... Пришлось завернуть в кузницу, Флобастер охрип, торгуясь с кузнецом, потом плюнул, заплатил и еще раз поколотил Муху.

Конечно же, под вечер ни у кого не осталось сил радоваться, что вот мы успели, вот мы в городе и здесь уже праздник, толкотня, а то ли еще будет завтра... Никто из наших и головы не поднял, чтобы полюбоваться высокими крышами с золотыми флюгерами, — только Муха, которому все нипочем, то и дело разезал навстречу диковинам свой круглый маленький рот.

Главная площадь оказалась сплошь уставлена повозками и палатками расторопных конкурентов — в суровой борьбе нам достался уголок, едва вместивший три наши тележки. Слева от нас оказался бродячий цирк, где в клетке под открытым небом уныло взревывал заморенный медведь; справа расположились кукольники, из их раскрытых сундуков жутковато торчали деревянные ноги огромных марионеток. Напротив стояли лагерем давние наши знакомые, комедианты с побережья — нам случалось встречать их на нескольких ярмарках, и тогда они отбили

у нас изрядное количество монет. Южане полным ходом сколачивали подмости; Флобастер помрачнел. Я отошла в сторону, чтобы тихонечко фыркнуть: ха-ха, неужто старик рассчитывал быть здесь первым и единственным? Ясно же, что на День Премноголикования сюда является кто угодно и из самых далеких далей — благо условие только одно.

Очень простое и очень странное условие. Первая сценка программы должна изображать усекновение головы — кому угодно и как угодно. Странные вкусы у господ горожан, возьмите хоть эту потешную куклу на виселице, ту, что украшает собой здание суда...

Праздник начался прямо на рассвете.

Даже мы маленько ошалели — а мы ведь странствующие актеры, а не сборище деревенских сироток, случались на нашем веку и праздники, и карнавалы. Богат был город, богат и доволен собой — ливрейные лакеи чуть не лопались от гордости на запятках золоченых карет, лоточники едва держались на ногах под грузом роскошных, дорогих, редкостных товаров; горожане, облаченные в лучшие свои наряды, плясали тут же на площади под приبلудные скрипки и бубны, и даже бродячие собаки казались ухоженными и не лишенными высокомерия. Жонглеры перебрасывались горящими факелами, на звенящих от напряжения, натянутых высоко в небе канатах танцевали канатоходцы — их было столько, что, спустившись вниз, они вполне могли бы основать маленькую деревню. Кто-то в аспидно-черном трико вертелся в сети натянутых веревок, похожий одновременно на паука и на муху (Муха, кстати, не преминул стянуть что-то с лотка и похвастаться Флобастеру — тот долго драл его за ухо, показывая на мелькавших тут и там в толпе красно-белых стражников).

Потом пришел наш черед.

Первыми вступили в бой марионетки — им-то проще простого показать усекновение головы, они сыграли какой-то короткий бессмысленный фарс, и голова слетела с

героя, как пробка слетает с бутылки теплого шипучего вина. Худая, голодного вида девчонка обошла толпу с шапкой — давали мало. Не понравилось, выдать.

Потом рядом заревел медведь; здоровенный громила в ярком, цвета сырого мяса трико вертел над головой маленького, будто резинового парнишку и под конец сделал вид, что откручивает ему голову; в нужный момент парнишка сложился пополам, и мне на мгновение сделалось жутко — а кто их знает, этих циркачей...

Но парнишка раскланялся как ни в чем не бывало; медведь, похожий на старую собаку, с отвращением прошелся на задних лапах, и в протянутую шляпу немедленно посыпались монеты.

Южане уступили нам очередь, махнув Флобастеру рукой: начинайте, мол.

Ко Дню Премноголикования мы готовили «Игру о храбрости Оллале и несчастной Розе». Несчастную Розу играла, конечно, не я, а Гезина; ей полагалось произнести большой монолог, обращенный к ее возлюбленному Оллалю, и сразу же вслед за этим оплакать его кончину, потому что на сцену являлся палач в красном балахоне и отрубал герою голову. Пьесу написал Флобастер, но я никак не решалась спросить его: а за что, собственно, страдает благородный Оллаль?

Оллаля играл Барриан; он тянул в нашей труппе всех героев-любовников, но это было не совсем его амплуа, он и не молод к тому же... Флобастер мрачно обещал ему скорый переход на роли благородных отцов — но кто же, спрашивается, будет из пьесы в пьесу вздыхать о Гезине? Муха — вот кто настоящий герой-любовник, но ему только пятнадцать, и он Гезине по плечо...

Я смотрела из-за занавески, как прекрасная Роза, живописно разметав по доскам сцены подол платья и распущенные волосы, жалуется Оллалю и публике на жестокость свирепой судьбы. Красавица Гезина, пышногрудая и тонкая, с чистым розовым личиком и голубыми глазками фарфоровой куклы, пользовалась неизменным успе-

хом у публики — между тем все ее актерское умение колебалось между романтическими вскриками и жалостливым хныканьем. Что ж, а больше и не надо — особенно если в сцене смерти возлюбленного удастся выдавить две-три слезы.

Именно эти две слезы и блестели сейчас у Гезины на ресницах; публика притихла.

За кулисами слышались тяжелые шаги палача — Флобастер, облаченный в свой балахон, нарочно топал как можно громче. Благородный Оллаль положил голову на плаху; палач покрасовался немного, пугая прекрасную Розу огромным иззубренным топором, потом длинно замахнулся и опустил свое орудие рядом с головой Бариана.

По замыслу Флобастера плаха была прикрыта шторкой — так что зритель видел только плечи казнимого и замах палача. Потом кто-нибудь — и этот кто-нибудь была я — подавал в прорезь занавески отрубленную голову.

Ах, что это была за голова! Флобастер долго и любовно лепил ее из папье-маше. Голова была вполне похожа на Бариана, только вся сине-красная, в потеках крови и с черным обрубком шеи; ужас, а не голова. Когда палач Флобастер сдергивал платок с лежащего на подносе предмета, брал голову за волосы-паклю и показывал зрителю, кое-кто из дам мог и в обморок грохнуться. Флобастер очень гордился этой своей придумкой.

Итак, Флобастер взмахнул топором, а я изготовилась подавать ему поднос с головой несчастного Оллаля; и надо же было случиться так, что в это самое мгновение на глаза мне попался реквизит, приготовленный для фарса о жадной пастушке.

Большой капустный кочан.

Светлое небо, ну зачем я это сделала?!

Будто дернул меня кто-то. Отложив в сторону ужасную голову из папье-маше, я пристроила кочан на подносе и набросила сверху платок. Прекрасная Роза рыдала, закрыв лицо руками; видимое зрителю тело Бариана несколько раз дернулось и затихло.

Палач наклонился над плахой — и я увидела протянутую руку Флобастера. Менять что-либо было уже поздно; я подала ему поднос.

Какая это была минута! Меня рвали надвое два одинаково сильных чувства — страх перед кнутом Флобастера и жажда увидеть то, что случится сейчас на сцене... Нет, второе чувство было, пожалуй, сильнее. Трепеща, я прильнула к занавеске.

Прекрасная Роза рыдала. Палач продемонстрировал ей поднос, строго посмотрел на публику... и сдернул платок.

Светлое небо.

Такой тишины эта площадь, пожалуй, не помнила со дня своего основания. Вслед за тишиной грянул хохот, от которого взвились с флюгеров стаи ко всему привычных городских голубей.

Лица Флобастера не видел никто — оно было скрыто красной маской палача. На это я, признаться, и рассчитывала.

Прекрасная Роза раскрыла свой прекрасный рот до размеров, позволяющих некрупной вороне свободно полетать взад-вперед. На лице ее застыло такое неподдельное, такое искреннее, такое обиженное удивление, которого посредственная актриса Гезина не могла бы сыграть никогда в жизни. Толпа выла от хохота; из всех шатров и балаганчиков высунулись настороженные лица конкурентов: что, собственно, случилось с привередливой, ко всему привычной городской публикой?

И тогда Флобастер сделал единственно возможное: ухватил капусту за кочерыжку и патетически воздел над головой.

...Едва выбравшись за занавеску, Гезина вцепилась мне в волосы:

— Это ты сделала? Ты сделала? Ты сделала?!

Флобастер медленно стянул с себя накидку палача; лицо его оказалось вполне бесстрастным.

— Мастер Фло, это она сделала! Танталь сорвала мне сцену! Она сорвала нам пьесу! Она...

— Тихо, Гезина, — уронил Флобастер.

Явился сияющий Муха — тарелка для денег была полна, монетки лежали горкой, и среди них то и дело поблескивало серебро.

— Тихо, Гезина, — сказал Флобастер. — Я ей велел.

Тут пришел мой черед поддерживать челюсть.

— Да? — без удивления переспросил Барриан. — То-то я гляжу, мне понравилось... Неожиданно как-то... И пубlike понравилось, да, Муха?

Гезина покраснела до слез, фыркнула и ушла. Мне стало жаль ее — наверное, не стоило так шутить. Она слишком серьезная, Гезина... Теперь будет долго дуться.

— Пойдем, — сказал мне Флобастер.

Когда за нами опустился полог повозки, он крепко взял меня за ухо и что есть силы крутанул.

Бедный Муха, если такое с ним проделывают через день! У меня в глазах потемнело от боли, а когда я снова увидела Флобастера, то оказалось, что я смотрю на него через пелену слез.

— Ты думаешь, тебе все позволено? — спросил мой мучитель и снова потянулся к моему несчастному уху. Я взвизгнула и отскочила. — Только попробуй, — пообещал он сквозь зубы. — Попробуй еще раз... Всю шкуру спущу.

— Зрителям же понравилось! — захныкала я, глотая слезы. — И сборы больше, чем...

Он шагнул ко мне — я замолчала, вжавшись спиной в брезентовую стенку.

Он взял меня за другое ухо — я зажмурилась. Он держал его, будто раздумывая; потом отпустил:

— Будешь фиглярничать — продам в цирк.

Он ушел, а я подумала: легко отделалась. За такое можно и кнутом...

Впрочем, Флобастер никогда бы не простил мне этой выходки, если б не маска, спрятавшая ото всех его удивленно выпученные глаза.



\* \* \*

Хозяин трактира «У землеройки» был от природы молчалив.

Хозяин трактира был памятьлив; он знал, какое вино предпочитает сегодняшней его посетитель, впрочем, что тут необычного, ведь посетитель — столь известная и уважаемая в городе личность...

Хозяин трактира понимал, что в этот день посетитель хочет остаться незамеченным; с раннего утра его дождался столик, отгороженный ширмой от праздничного трактирного многолюдья.

Вот уже несколько лет подряд известный в городе человек приходил сюда и садился за этот одинокий столик, чтобы неторопливо выпить свой стакан изысканного напитка.

И хозяин, несколько лет наблюдавший за этим своеобразным ритуалом, прекрасно знал, что будет дальше.

Когда стакан уважаемого посетителя пустел примерно наполовину, в дверях появлялась тощая долговязая фигура; некий незнакомец склонял голову перед дверной притолокой — иначе ему было не пройти — и окидывал трактир вполне равнодушным взглядом. Незнакомец был сухой, как вобла, прозрачноглазый старик; кивнув трактирщику, он всякий раз направлялся прямо к столику за перегородкой. Трактирщик помнил, какое вино предпочитает незнакомец, — вкусы старика несколько отличались от вкусов его сотрапезника.

Трактирщик готов был поклясться, что эти двое никогда не разговаривают. Уважаемый в городе человек в молчании допивал свои полстакана; старик, чуть пригубив свое вино, поднимался и уходил. Человек за одиноким столиком заказывал себе еще стакан и добрую закуску; если перед тем он казался веселым и напряженным, то теперь хозяин ловил в его глазах облегчение — и одновременно некое разочарование. Щедро заплатив, уважае-

мый горожанин покидал трактир, кивнув трактирщику на прощание.

Хозяин «Землеройки» прекрасно знал, какое неизгладимое впечатление оказал бы на соседей рассказ об этих странных событиях, повторяющихся из года в год — и всегда в День Премноголикования. Хозяин знал это и предвидел восторг всеведущих кумушек — но был молчалив от природы. А возможно, нечто, непостижимое тонким умом трактирщика, повелевало ему молчать.

\* \* \*

...Тем временем праздник шел своим чередом.

Наши соперники-южане представили почтеннейшей публике большую и помпезную пьесу — перед началом было объявлено, что все увидят «Историю Ордена Лаш». Толпа перед нашими подмостками постепенно переметнулась к сцене напротив — мы тоже выглянули, чтобы поглазеть.

«История» начиналась с отрубания головы большой тряпичной кукле — а голова-то, с позволения сказать, была на пуговицах, как воротничок. Потом являлось священное привидение Лаш — здоровенный парень на ходулях, до бровей завернутый в серый плащ. Край плаща по задумке автора был изъеден червями; для того чтобы зритель подумал именно о сырой могиле, а не о сундуке с молью, к подолу были пришиты несколько жирных дождевых червяков — светлое небо, живых и бодрых, будто привидение собралось на рыбалку...

Публика, однако, была поражена. Дети завизжали от страха, священное привидение завыло, как майский кот, — право же, что значит идти на поводу у зрителя! Если священное привидение действительно так выглядело — откуда же у него взялись последователи?

Не успела я об этом подумать — и на тебе, вот и служители Ордена Лаш на сцене появились! Целых четверо, ибо у южан большая труппа; спереди они выглядели как

чучела в капюшонах, а сзади на каждом было нарисовано по скелету — это аллегорически объясняло, что братья Лаш на самом деле сеют смерть. Публика зааплодировала, — говорят, среди горожан полно еще свидетелей Мора, того самого, что девятнадцать лет назад сожрал половину жителей округи; того самого Мора, который, по слухам, и вызван был служителями Лаш...

Меня, по счастью, тогда и на свете не было; моя худая и бледная мать любила рассказывать, каким мощным, богатым и знатным был наш род. Мор расправился с ним за несколько дней: мой дед и бабка, а также дядья, тетки, кузены и кузины достались одной огромной могиле, их дом огню, а имущество — мародерам. Из всей семьи уцелели только моя мать и ее младший брат; остатки огромного состояния таяли на протяжении десяти лет, мое детство прошло в огромной пустой комнате, где было полно породистых собак и редкостных, в беспорядке разбросанных книг...

После смерти матери дядюшка заточил меня в приют. Из приюта меня вызволил Флобастер.

...Флобастер шумно дышал у меня над ухом — ясно, что южане имеют успех и нам придется здорово посопеть, чтобы переманить к себе глупую публику.

«История Ордена Лаш» завершилась ко всеобщему удовольствию — розовощекая дамочка, изображавшая Справедливость, повергла «братьев Лаш» в ловко откинутый люк, откуда они еще долго стонали и жаловались. Публика хлопала как бешеная — Флобастер сделал кислое лицо и зашипел на Муху, когда тот попытался хлопнуть тоже.

Мы не начинали еще с полчаса, потому что совсем рядом случился поединок барабанщиков. Оба были по уши обвешаны своими инструментами — да еще тут же помещался прямо на земле барабан-чудовище размером с колодезный сруб. Грохот стоял — уши затыкай; толпа подхлопывала да подсвистывала, бедняги лезли из кожи вон, их барабаны ревели и плакали — и все же ни один не мог перещегоолять другого. Наконец хозяин чудовища вско-

чил на него ногами, заколотил что есть мочи, запрыгал, будто ему пятки жжет, сорвал шквал аплодисментов — и сразу же с треском провалился вовнутрь, в барабан. На том поединок закончился.

Настало наше время — и на суд зрителей была представлена «Игра о принцессе и единороге».

Мне нравилась эта пьеса. Флобастер перекупил ее у какого-то бродячего сочинителя; в ней говорилось о принцессе (Гезина), полюбившей бедного юношу (Бариян), а злой колдун возьми да и преврати возлюбленного в единорога. Правда, как по мне, если уж колдун злой таки, то не станет он в благородных единорогов превращать! Он чего-нибудь попротивнее найдет — ведро помойное или башмак дырявый... Правда, попробуй сыграй потом пьесу, где героя превращают в поганое ведро...

Мага играл Фантин — наш вечный «злодей». Он как никто умеет страшно хмурить брови, кривить рот и злое-ще растягивать слова; справедливости ради следует сказать, что больше он решительно ничего и не умеет. Он добрый и глупый, наш Фантин. На таких воду возят.

Бариян и Гезина пели дуэтом — у Гезины тонкий, серебряный голосок, от него сходят с ума не только купцы на ярмарках, но даже знатные господа... Правда, Гезина ни поцелуя не допустит без «истой любви». На моей памяти таких «любовей» было шесть или семь.

Спектакль шел ни шатко ни валко; ближе к финалу публика заскучала. Немножко поправила дело сцена превращения — Муха что есть сил колотил в медный таз, Флобастер потрясал листом жести, а Бариян корчился в клубах дыма (это я подожгла под помостом пучок мокрой соломы). И все равно к финалу толпа перед нашей сценой заметно поредела.

Южане скалили свои белые зубы. Надо было спасать положение.

Муха по-быстрому обежал публику с тарелкой — меньше половины — и тут же объявил «Фарс о рогатом мухе». К нашим зрителям прибавилось еще несколько

заинтересованных горожан — тут-то я увидела Господина Блондина.

Это было немыслимо. Он возвышался над толпой на целую голову — эдакий мячик на гребне волн. Он был голубоглаз до неприличия — с любого расстояния глаза его горели, как два кусочка льда, подсвеченного солнцем. Он был не то чтобы молод, но назвать его стариком не поворачивался язык. Я в жизни не встречала столь благородных лиц; он был как ожившая статуя, как бронзовый памятник великому воителю. Теперь этот памятник поглядывал в нашу сторону, раздумывая, видимо, уходить или остаться.

Господин Блондин, не уходите!

Я еле дождалась, пока Флобастер, вооруженный принадлежностями канцеляриста, закончит свой монолог — он-де суровый муж и жена его — светоч добродетели.

Он еще договаривал последние слова, когда на сцену вылетела я — с накладной грудью и оттопыренным задом. Вылетела, как горошина из трубки шкодника; на всей площади для меня существовал сейчас один только зритель.

Ах, я отчаявшаяся женушка, такая добродетельная, такая добродетельная, может быть, добрый муженек позволит мне повышивать гладью на пару с подруженькой?

Подруженька выплыла из-за кулис, покачиваясь на тонких каблуках. На свет явились пальцы размером с обеденный стол; по мере того, как я нежно напевала: «Ах, подруженька, какой сложный стежок, какой дивный рисунок», с подруженьки последовательно слетали шляпка, туфельки, вуалька, платье, корсет...

Муха остался в одних штанах. Спереди их оттопыривала огромная толстая морковка; заговорщицки переглянувшись, мы загородились натянутой на пальцы простыней и от «мужа», и от публики.

Эту сцену можно играть до бесконечности.

Упершись друг в друга лбами, мы с Мухой стонали и вопили, хрипло дышали и выписывали бедрами кренделя; я то и дело выставяла из-за пальцев голую по колено но-

гу, а Муха ритмично продавливал натянутую ткань своим тощим задом. Мы изображали страсть, как могли; черные глаза Мухи горели все жарче, на верхней губе его выступал капельками пот, я подозреваю, что в тот момент он имел бы успех и без морковки...

А Флобастер тем временем говорил монолог, и в голове его звенело такое искреннее, такое неподдельное самодовольство, что публика валилась с ног от утробного хохота.

Флобастер, воздевая руки, декламировал:

О нравы! О распутство! О беда!  
Тлетворное влияние повсюду...  
Пускай цепной собакою я буду,  
Но наглый взор распутства никогда  
Супруги благодатной не коснется...

Позади него тихонько раздвинулась шторка; невидимый публике Бариян засел у «мужа» за спиной — и, к удивлению зрителя, над макушкой Флобастера показались сперва острые кончики, потом первая развилочка — и, наконец, огромные ветвистые рога!

Толпа грянула хохотом, едва не надрывая животы. Рога росли все выше и выше, пока не закрепились наконец особым образом у Флобастера на затылке. Бариян ускользнул за шторку.

Флобастер поднял палец:

А не пойти ли к милой, не взглянуть ли,  
Как в обществе достойнейшей подруги  
Моя супруга гладью вышивает;  
Так голубь белоснежный пребывает  
В объятьях целомудрия. Пичуга  
Невинна, как пушистый нежный кролик...

Этим «кроликом» он совершенно доконал публику.  
— Пойди! — заорал кто-то из толпы. — Пойди погляди, ты, простофиля, на своего кролика!

Флобастер скептически поджал губы и показал на свои счета:

— Труды... Труды не позволяют мне отвлечься на минуту...

Лицо его под ветвистой короной было преисполнено такого достоинства, такого трогательного серьеза, что даже я, которая видела все это двести раз, не удержалась и прыснула. Нет, Флобастер, конечно, самодур, тиран и скупердяй — но он великий актер. Просто великий, и за это ему можно простить все что угодно...

Фарс подходил к концу — в дырочку натянутой на пальцы ткани я поймала наконец своего Господина Блондина.

Небо, он не хохотал. Он ржал, как племенной жеребец. Лицо его потеряло аристократическую бледность, сделавшись красным, как помидор. Он хохотал, глядя на Флобастера и его рога; и как же мне захотелось выскочить вперед и закричать на всю площадь: я, я придумала этот трюк! Вы все смеетесь, а я придумала, я, я, я!

Конечно, я никуда не выскочила. Муха выполз из-за пальцев на четвереньках, в перекошенном корсете, в едва застегнутом платье; «муж» озадаченно предположил, что мы вышивали не покладая рук. Толпа рукоплескала.

Мы раскланивались три раза подряд. Приседая в совершенно неуместном здесь реверансе, я в панике шарила глазами по толпе: потеряла, потеряла!

Через минуту он обнаружился под самым помостом. Меня будто ошпарили кипятком; и Флобастер и Муха давно скрылись за кулисами — я раскланивалась, как заводная кукла, пока мой Господин Блондин не поманил меня пальцем.

В кулак ко мне непостижимым образом попала теплая золотая монетка. Его совершенные губы двигались, он обращался ко мне — ко мне! — а я не слышала слов.

Чудесное мгновение длилось до тех самых пор, пока безжалостная рука Флобастера не уволокла меня за подол...

Я носилась с золотой монеткой целых полдня; решено было, что она станет мне талисманом на всю жизнь. Одна-

ко уже назавтра здравый смысл взял верх над романтическим порывом, и талисман обратился сначала в горстку серебряных монеток, а потом уже в шляпку с бантом, платье на шнуровке и праздничную трапезу для всей честной компании.

\* \* \*

Тяжелый обеденный стол, окруженный стайкой испуганных стульев, забился в угол и оттуда наблюдал за поединком.

Луар нападал, стелился в длинных выпадах, всей азартной душой устремляясь вслед за кончиком затупленной шпаги. Его противник почти не сходил с места — Луар налетал на него с разных сторон, как вороненок на каменную башню.

Привлеченная шумом, в дверь опасливо заглянула кухарка; при виде ее Луаров противник воодушевился и, продолжая парировать и уклоняться, осведомился о завтраке. Кухарка опасливо закивала, пробормотала несколько аппетитных названий и ускользнула прочь.

— Ноги, ноги, ноги! — кричал Луаров противник, обращаясь на этот раз к Луару. — Не двигаешься, ну!

Луар утроил темп. Горячий пот стекал ему за шиворот. Противник отступил на шаг и опустил шпагу:

— Передохнем.

— Я не устал! — оскорбился задыхающийся Луар.

— Все равно передохнем... Я передохну.

— Тебе не надо.

— Ах так?!

Шпаги снова скрестились, на этот раз Луар оказался в обороне; рассекая воздух, на него надвигалась размазанная в движении сталь, и, отразив несколько ударов, он просто испугался — как пугался в детстве, когда отец шел на него, изображая медведя. Он знал, что это папа, а не медведь, — и все равно верил в игру, видел перед собой лесного зверя и кричал от страха...



Затупленное острие остановилось у Луара перед лицом; противник тут же отступил, готовя новую атаку, и все повторилось снова — несколько панических блоков со стороны Луара, железный веер перед его носом, острие, эффектно замершее против его груди.

Луаров противник скользил по дощатому полу, как водомерка по озерной глади; любое его движение было широким и экономным одновременно. Луар залюбовался и, уже не сопротивляясь, принял несильный укол в бок.

— Внимательнее! — укорил противник. — Я уже накидал здесь кучу трупов... Ну-ка!

Луар улыбнулся и уронил шпагу на пол. Его противник на мгновение замер, потом осторожно опустил свое оружие:

— Опять?

— Это бесполезно, — признался Луар со вздохом.

— Сдаешься?

— Не сдаюсь... Видеть не желаю эту шпагу. — Приступ раздражения оказался неожиданностью для него самого. Тут же устыдившись, Луар отвернулся и отошел к столу.

— На кого ты злишься? — спросили у него за спиной. — На меня?

— На себя, — признался Луар со вздохом. — Я... Так... Ну, бесполезно. Стоит ли тратить... Я все равно не буду... как ты, — он улыбнулся через силу.

— Ну, вот и весенний денек. — Рядом шлепнулись на стол кожаные перчатки, и Луар почувствовал тяжелые руки на своих плечах. — Солнышко-дождик-смерчик-булька-солнышко... Ты сегодня очень хорошо работал, малыш.

— Это смотря с кем сравнивать. — Луар на мгновение коснулся щекой горячей жесткой ладони. — Если с пьяной старухой... да еще на сносях...

— Так. Пьяная старуха на сносях, — его собеседник озадаченно хмыкнул. — М-да-а... Бери-ка свое несчастное оружие, да закрепим сейчас одну штуку...

Они повторили несколько комбинаций подряд, когда

двери столовой распахнулись и на пороге встала темноглазая внимательная женщина. Луаров противник тут же опустил шпагу, давая понять, что урок закончен, потому что — и Луар знал это давно — его отец никогда не фехтует в присутствии его матери. Никогда. Будто оружие руки жжет.

За завтраком Алана долго и с пристрастием выясняла, почему если волк — зверь, тигр — зверь, то лошадь что, не зверь? А свинья? А корова?

Прислуживала новая горничная, Далла; Луар наблюдал, как она всякий раз краснеет, склоняясь над плечом его отца, краснеет мучительно, до слез. Он попробовал взглянуть на своего отца круглыми глазами этой девчонки — красавец, герой, полковник со стальным взглядом и мягким голосом, ожившее чудо, воплощенное сновидение, предел мечтаний и повод для горьких слез в подушку, потому что ничего, кроме просьбы подать салфетку, тебе, девочка, от него не услышать — хотя он добр и, может быть, не высмеет тебя, а если повезет, то ласково потреплет по загривку...

Посмеиваясь про себя, Луар сам с собой заключил пари, что, едва покинув столовую, Далла тут же благоговейно сгрызет вот эту недоеденную отцом горбушку; еще более его веселило, что мама, его проницательная мама совершенно ничего не замечает. Она слишком далека от этих маленьких житейских драм, ее это даже не веселит. При чем тут пунцовая горничная, когда на ее, матери, глазах полковника Солля атаквали по всем правилам богатые и знатные соискательницы, атаквали свирепо, вооружившись густыми сетями интриг, — но госпожа Тория Соль и тогда не замечала их в упор, будто их и не было...

Пряча невольную улыбку, Луар дотянулся под столом до отцовой ноги и, когда отец вопросительно на него глянул, указал глазами на пышущую жаром Даллу. Тот насмешливо прикрыл глаза — вижу, мол, что поделывать, сынок, не ругать же девчонку, вон как старается.

Луар вздохнул и опустил глаза в тарелку. Далла про-

шла мимо, задела спинку его стула, присела в извиняющемся реверансе...

Он, Луар, всегда останется пустым местом для Даллы, для многих тысяч Далл. Рядом с отцом он выглядит так же привлекательно, как чахлый кустик в тени огромного цветущего дерева. Горничная или принцесса — что им за дело до неловкого, неуклюжего, невзрачного...

— Что это ты ничего не ешь, Денек? — тихо спросила мать. В любую какофонию Луаровых мыслей ее голос всегда вплетался единственно чистой, уверенной нотой.

— Денек, Денек, тучка набежала? — деловито осведомилась Алана.

Он получил свое прозвище чуть ли не вместе с именем — мать говорила, что у этого ребенка характер, как весенний день: солнце—тучи...

Он усмехнулся и подмигнул расцветшей Алане; сестра боготворит его так же, как сам он обожает отца. Кто знает, как сложились бы их отношения, будь задиристая Алана чуть старше, — но между ними разница в тринадцать лет, для пятилетней девочки восемнадцатилетний брат — чудо из чудес, третий родитель...

— Луар, ты думал, о чем я просила? — мать задумчиво потрогала висок. Она звала его Луаром только в особо серьезных случаях.

Честно говоря, он не думал. Если мать хочет, чтобы он поступил в университет, — он поступит, конечно, но и это, пожалуй, бесполезно. С младенчества он хотел стать воином, как отец, — но с отцом ему никогда не сравняться ни доблестью, ни умением, а вот мать... Ему никогда не сделаться таким ученым, как она. Голова лопнет.

— Я не знаю, — сказал он честно и едва удержался, чтобы не добавить: у выдающихся родителей дети обычно тусклые, как стекляшки.

Мать огорчилась; Луар чуть ли не кожей почувствовал, как она огорчилась, — но виду не подала:

— Что ж... Если ты захочешь чего-нибудь другого... — Она взглянула на отца, будто ожидая поддержки.

— Все-таки лошадь — это не зверь, — задумчиво предположила Алана. — Лошадь — значит «зверька»...

— Ты грустный или мне кажется? — спросил отец. Луар снова улыбнулся через силу.

Отец успел остановить руку влюбленной Даллы, навострившейся заново наполнить его бокал; от прикосновения своего кумира бедная девушка чуть не грохнулась в обморок.

— У меня к тебе будет разговор, Денек, — сказал отец, — и Луар встрепенулся. — Погуляем... после завтрака?

— Конечно, — поспешно отозвался Луар, довольный и обеспокоенный одновременно.

Далла споткнулась в дверях и уронила на пол соусницу.

Улицы помнили недавний праздник. В этот уже не ранний час город все еще пребывал в сонном оцепенении, и тишина нарушалась лишь размеренным шарканьем метелок.

Отец и сын вышли на площадь, непривычно малолюдную и пустую: театрики и балаганы, развлекавшие зрителей несколько дней подряд, исчезли, изгнанные с площади приказом бургомистра. Там, где еще недавно стояли подмостки, громоздилась теперь куча хлама; в стороне лежал огромный, с разорванным боком барабан.

Перед зданием университета величественно замерли железная змея и деревянная обезьяна; чья-то развеселая рука украсила обезьянью голову шутовским колпаком. Полковник Соль молча поднялся по широкой лестнице, чтобы стянуть колпак с темного деревянного лба.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал Луар. — Ты думаешь, что я... должен сделать так, как хочет мама? Стать студентом?

Отец задумчиво повертел в пальцах пеструю тряпочку. Улыбнулся:

— Знаешь, вчера я видел представление бродячей

трупшы... Такой занятный фарс. И что интересно — в точности повторяющий приключение, которое я сам устроил в городе Каваррене много лет назад... Еще до знакомства с мамой.

Луар насторожился. За всю свою жизнь ему лишь дважды случалось побывать на родине отца — он смутно помнил красивый городок на берегу реки, огромный дом с гербом на воротах, желтого старичка в тесном гробу — своего деда... Мать не была в Каваррене ни разу, по крайней мере на памяти Луара; отец никогда не вспоминал при ней о своей каварренской жизни — а вот Луару рассказывал, смачно и с удовольствием, и про породистых бойцовых вепрей, и про высоких тонконогих коней, и про славный полк гуардов, парады и патрули, охоты и иногда — дуэли... Тогда Луар завидовал отцу — и лишний раз осознавал, что такую жизнь ему не прожить никогда.

Луар вздохнул. Отец следил за ним, накручивая колпачок на палец.

Навстречу им попалась стайка студентов; кто-то первый заметил полковника Солля, произошло сложное переталкивание локтями — и ученые юноши поприветствовали Луарова отца с необычной для сорвиголов почтительностью. Черные шапочки в их руках коснулись кисточками мостовой; Соль кивнул в ответ — студенты заулыбались, ошастливленные. Луара они, как водится, не заметили — впрочем, он и не огорчился.

Он всегда любил молча идти рядом с отцом. Сколько себя помнил — сначала держась за руку, и голова его едва дотягивалась отцу до пояса; в один отцов шаг тогда укладывалось несколько Луаровых. Даже теперь ему приходилось шагать чаще, чтобы примеряться к шагу своего замечательного спутника, — и все равно он любил идти рядом, молчать и впитывать то искреннее и глубокое почтение, которое выказывали его отцу самые разные люди...

Отец и сын миновали здание суда, перед которым возвышалась круглая черная тумба, а на тумбе болтался игрушечный висельник на игрушечной же перекладине.

Луар скользнул по нему равнодушным, давно привычным взглядом. Рядом возвышалась наглухо запертая башня — ее звали Башней Лаш, и случалось, что на изъеденных временем стенах появлялись написанные углем проклятия. Луар так и не знал толком — люди их пишут или сами проступают; за Башней укрепилась самая дурная слава, и стражники угрюмо гоняли любопытных от этих крепко запертых да еще и заложенных кирпичами ворот.

Сейчас двое красно-белых стражей порядка нерешительно отпихивали дровками расхристанного, грязного, обвешанного лохмотьями старика; Луар почувствовал, как напрягся идущий рядом отец. Старик был городским сумасшедшим; он то исчезал надолго, то появлялся в городе снова, шатался по улицам, выкрикивая неразборчивые мольбы и собирая за собой целые шлейфы злых ребятешек; теперь, накинув на голову остатки ветхого капюшона, он что-то втолковывал стражникам, а те щерились и толкали его все злее — дровками в живот...

— Лаш-ашша! — тонко выкрикнул старик.

Встретившись с отцовым взглядом, Луар вздрогнул. Это был чужой, свинцовый взгляд, которого Луар никогда раньше не видел в его глазах...

Или почти никогда.

На секунду оставив старика, стражники поспешили поприветствовать господина полковника; Луаров отец ответил, не сбавляя шага. Скоро старик и стражники остались позади.

Весь следующий за площадью квартал Луар шел, не поднимая головы. Будто в бокале сладкого вина оказался вдруг рыбий жир — его задела не столько неприятная встреча, сколько болезненная реакция отца; нервный и мнительный, он принял тот свинцовый взгляд едва ли не на свой счет. Отец молча и виновато положил руку ему на плечо.

Луар знал, почему сам вид безумного старика способен ввести отца в ярость и раздражение. Эгерта Соля связывала с ныне запрещенным орденом Лаш давняя тра-

гедия; Луар догадывался, что отцу тяжело всякий раз даже смотреть на заколоченную Башню, что, будь его воля, он давно бы жил в Каваррене — но мама не может без университета, без кабинета своего отца, Луарового деда, которого звали Луаян, который был магом и в честь которого, собственно, Луар получил свое имя...

И еще — мама не любит Каваррена.

Луар вздохнул и, выказывая отцу свою солидарность, тихонько пожал его локоть.

...Ему было лет двенадцать, когда, жаждущий забав и раззадоренный примером прочих ребяташек, он запустил в старика камнем. Несчастный случай направил его руку — камень угодил бедняге в лицо и рассек бровь. Старец вскрикнул и едва устоял на ногах; балахон его перепачкался кровью.

Тот же несчастный случай сделал так, что отец и мать Луара стали свидетелями его поступка.

Отец — и Луар был искренне в том уверен — и сам с удовольствием швырнул бы камнем в ненавистного старика; однако реакция его оказалась вовсе не такой, как ожидалось. Отец был хмур и молчал — а уж мать и вовсе потемнела, как туча. Луару доходчиво объяснили, как нехорошо причинять боль старым, да еще и безумным людям, как отвратителен его поступок и что за это полагаются; видя реакцию отца, он и сам уже уверился в совершеннейшем ужасе случившегося. Мать, стиснув зубы, послала за розгами — и Луар, на чью долю до сих пор не выпадало такого наказания, прекрасно знал, что рука ее не дрогнет.

Тогда он взял отца за локоть и шепотом попросил его собственноручно исполнить приговор. Он не знал, как сложились бы потом их отношения с матерью, — но от отца он с радостью готов был снести и это. Тем более что в глубине души его по-прежнему жила уверенность: отец бы и сам...

...Они покружили по улицам, постояли на горбатом мостике над каналом; Луар чувствовал, что отец собира-

ется с мыслями, а может быть, и с духом, — и молчал, боясь оказаться глупым, что-то нарушить. В нем почему-то крепла уверенность, что сегодняшняя прогулка откроет ему, Луару, нечто важное, что еще приблизит его к отцу — хотя ближе, казалось бы, невозможно...

— Сынок, — сказал наконец полковник Солль. Маленький камушек вырвался из его руки и утонул в канале, оставив на поверхности тонкое расходящееся кольцо. — Ты сегодня очень хорошо фехтовал.

Луар вздрогнул. Он ожидал каких угодно слов — но только не этих. Он не смог сдержать довольной улыбки — но прекрасно понял, что отец хочет чего-то большего, нежели просто похвалить.

— Ты хорошо фехтовал, — продолжал отец, бросая другой камушек, — но, видишь ли, ты ведь можешь вообще не фехтовать... Если вдруг не захочешь... От этого мы не станем любить тебя меньше.

Сбитый с толку, Луар смотрел, как расходятся по воде темные круги. Отец улыбнулся:

— Ты можешь не поступать в университет и не прочесть больше ни одной книги... Нам будет грустно, но все равно мы тебя не разлюбим. Понимаешь?

— Нет, — честно признался Луар.

Отец вздохнул:

— Теленок валяется в ромашках и сосет вымя... А теперь представь, что то же самое делает здоровенный бык.

Помолчали.

— Я что-то не так делаю? — спросил Луар шепотом.

Отец запустил руку в путаницу своих светлых, как и у Луара, волос, смел со лба назойливые пряди.

— Я, наверное, не так сказал... Малыш, нельзя до старости жить детством. Хм... Старость твоя далеко, конечно, но пора выбирать...

Луар прерывисто вздохнул. Потупился, изучая мокрицу на влажном камне перил.

Отцова рука легла ему на плечо:

— Денек...





## Оглавление

ПРОЛОГ ······	5
ГЛАВА ПЕРВАЯ ······	7
ГЛАВА ВТОРАЯ ······	66
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ······	115
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ······	166
ГЛАВА ПЯТАЯ ······	217
ГЛАВА ШЕСТАЯ ······	269
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ······	330
ГЛАВА ВОСЬМАЯ ······	387
ЭПИЛОГ ······	408